

Михаил Садовский
Под часами

Роман



Михаил Садовский

Под часами

«Издательские решения»

2015

Садовский М.

Под часами / М. Садовский — «Издательские решения», 2015

Роман «Под часами» рассказывает об изломанных судьбах творческой интеллигенции советской эпохи. Когда-то русского беспризорника приютили в еврейском детском доме. Войну он прошел армейским разведчиком, боль и стыд за происходящее в стране превращают его в автора гневных стихов, обличающих режим и его присных. Автор романа пишет о себе, о людях, которых знал, о тех, чьи жизни переплелись в единый клубок с его собственной, отражая и создавая невероятную судьбу страны. Это второе издание книги.

© Садовский М., 2015

© Издательские решения, 2015

Содержание

I		6
	Пиджак	7
	Режиссёр	10
	Гири	13
	Авоська	17
	Третий звонок	19
	Снова	25
	Возвращение к началу	29
	Разведка	32
	Совпадение	35
	Конец ознакомительного фрагмента.	38

Под часами
Роман
Михаил Садовский

© Михаил Садовский, 2015

Редактор Лара Садовская

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

I

Мама, неужели для того, чтобы понять, как ты нужна и близка мне, надо было пережить тебя. И все картинки, такие яркие в памяти, никак не переносятся на бумагу, тускнеют, становятся обычными, даже сусально пошловатыми, а ты была очень сдержанной и необыкновенной. На самом деле, ну, если совсем чуть оттого, что моя мама. Слово это незаменимо. Может быть, лишь в анкете я могу против него поставить твоё имя.

Мама... стоило завернуть за угол старого бревенчатого дома, и начинался пустырь, поросший пижмой. Сентябрьский, солнечный день. В зелёной, выцветшей брезентовой сумке от противогаса, в специальном её внутреннем кармане для запасных стёкол два косых среза халы, намазанные толстым слоем жёлтого масла, и в него вдавлены половинки кусков толсто-спинной жирной селёдки «залом». Это пиршество только что приготовлено тобой и завернуто в газету на целый школьный день. Но я вступаю в запах пижмы, скособочившись, расстёгиваю сумку, вытаскиваю свой обед и осторожно разворачиваю, чтобы не обронить зёрнышки мака, стёршиеся с румяной корочки халы, ссыпаю их из развёрнутой газеты на ладонь, втягиваю в рот, давлю зубами, а уж потом раскрываю рот пошире и вонзаюсь в необыкновенное мягкое чудо, сотворённое твоими руками, и съедаю медленно тут же, еле переставляя ноги, весь дневной паёк... иногда ещё ты вкладывала в сумку жёлтую прозрачную, словно налитую подсолнечным маслом, антоновку...

Сколько я ни старался потом – у меня не получались такие бутерброды, и антоновка никогда не была такой пахучей и сочной...

Так ты до сих пор кормишь меня, мама, своим присутствием в каждой возникающей вкусной картине, ароматной фразе, сочной странице, но больше всего, когда я остаюсь наедине с тобой и каждый раз сгораю со стыда, хотя не слышу от тебя ни одного слова упрёка... ах, как бы я хотел многое вернуть назад, чтобы прожить по-другому, для тебя... и какая же это мука неотвязная и всё усиливающаяся с годами от совершенной безнадёжности что-либо изменить даже в своей памяти, как бывало в детстве – соврать и самому поверить в то, что сказал...

Только простить, простить...

Я вижу сегодня в своих детях то же самое, что прошёл сам. Значит, очевидно, это закон жизни, мама.

Но позволь мне пригласить тебя на эти страницы, не в качестве персонажа, на такую дерзость я бы никогда не решился, – советчика в моих раздумьях. О чём бы мы ни писали, мы пишем о себе и своём времени, ты согласна? Ну, по крайней мере, не возражаешь... помнишь, как ты спрашивала меня: «Зачем тебе это нужно? Вся эта писанина?»

Не знаю. До сих пор не знаю... может быть, кому-нибудь ещё пригодится, ну, хоть одному, незнакомому... у меня нет сил сопротивляться этой болезненной страсти...

Москва, среда, 15 сентября 1999 года

Пиджак

Фраза стала главным в его жизни. Он бы не смог объяснить, откуда она бралась. Выплыла из-под его пера, а потом тянула и его за собой за руку. После тяжких лет эвакуации работа здесь, в разбитой подмосковной школе учителем, потом директором детского дома, вдруг после какого-то выступления на совещании этот журнал с казённым названием... и понятно, что невозможно было отказаться... журнал был «цековским». Ничтожная должность, убогая жизнь на мизерную зарплату... переполненная электричка по утрам и пугающе пустая по возвращении. Задавленная старыми вещами комнатуха, спящие дети, жена в затрапезном виде, вечно ворчащая и не имеющая возможности в силу характера и ума оценить, что же происходит... и его тяга писать... ну, понятно, не то, что приходится сейчас по службе, но фразе всё равно. Он это понял недавно и ужаснулся – фраза органична для него, а не для того, о чём он пишет. И поэтому получается не засушенная наукообразная галиматья о педагогике, а вполне убедительная, но, будь она неладна, так изначально лживая «правда». Он мучался ужасно. Рос по службе стремительно, уже обошёл тех, кто его услышал, рекомендовал, проталкивал. Они недоумевали, пытались выяснить его закулисные ходы, патронов, хитрые интриги и сами себе не верили, ничего не находя. Так не могло быть. Но они не решались покуситься на его писания, ибо они все шли под чужой фамилией, которая тоже благодаря этому стала появляться в списке под более высокими некрологами, среди участников совещаний, заседаний, встреч... надо было быть идиотом, чтобы предпринимать против этого действия без видимой для себя выгоды, без «ведущего», но всё же некоторые «стукнули» раз, другой, и явно без ощутимого успеха... А его фразы стали возвращаться, как новые лозунги педагогики, сверху – «из доклада» и красовались заголовками на полосах газет и даже на стенах детских учреждений. Редактор поднялся ещё выше, уже над журналом, и его преемник пересадил «перо» поближе к себе, сократив площадь двух машинисток, а потом и вовсе выделил ему два пустых дня для работы дома и творческое утро. Он быстро подобрел, потолстел от многого сидения и сменил очки на более солидные, не в круглой оправе, а эрзац роговые с переходом коричневого цвета в жёлтый на наружных закруглениях у висков... теперь галстук он завязывал на двойной узел, постоянно проверял, порой совсем не к месту, застёгнута ли ширинка и обтряхивал лацканы пиджака от перхоти, отчего они совсем засалились и придали ему законченный вид местечкового ремесленника, вышедшего на прогулку после работы. Зато он стал Пётр Михайлович, а никакой уже не Петя на «Вы», и не Пинхус Мордкович, ну кто же допустит Пинхуса к личному делу в отделе кадров. Пётр Михайлович – вполне привычно по-русски и пристойно.

На конференцию в республику он должен был ехать в среду, и в понедельник, получая инструктаж, какой доклад везти на совещание, заодно выяснил, что заму главного не нравится его пиджак, и ему в порядке премии, именно на пиджак вместе с командировочными выдадут деньги, а в этом ехать никак нельзя. Он смущался в свои сорок, как мальчик, вынужденно благодарил, проклинал всё на свете, начиная с педагогики и журналистики до жены, и поплёлся домой в совершенно расстроенном духе. После очередной домашней сцены, упреков о его ничёмности, безобразной неряшливости и непрактичности в местном сельпо у знакомого продавца был куплен импортный костюм баснословно дёшево даже с учётом переплаты.

В домике для гостей в показательном колхозе-миллионере, где проходило республиканское совещание, инструктор ведомства, приставленная к нему для встречи, размещения, связи с начальством, помощи по всем вопросам не поняла его молчания в ответ на явные намёки, «что она по всем вопросам», оставленного нетронутым и вечером, и утром графина с коньяком местного производства, слишком позднего сидения за столом над докладом и раннего подъёма без опоздания...

Совещание прошло «без сучка», и она сияла от похвал ему, ощущая свою непонятную в чём причастность. А он не выпил ни рюмки на банкете и уехал в купе вечерним, ни за что не согласившись на мягкий вагон в утреннем и не обращая внимания на её обиженно надутые губки.

Что он не умеет жить, донеслось до начальства прежде, чем он вернулся, его стали побавиваться, подозревая в чём-то тайном, приглядываться, вычислять, не берёт ли он на заметку... он же ничего этого не ощутил и работал, работал...

Оказалось, что у него нет друзей. Близкий родственник в откровенном разговоре как-то сказал ему, что он попал в ловушку, и оттуда не выбраться. Он не согласился. Потом долго думал ночью про пиджак, графин коньяка на столе, приставленную к нему чичероне в юбке, про переданную похвалу «сверху», про ещё одну премию... он сам чувствовал, как его покупают, т. е., значит, и продают, и он не мог понять, кто, но не хотел верить, что совершил ошибку, оторвавшись от своего дела с ребятами, с которыми у него всегда получался искренний контакт, и превратившись в «еврея при губернаторе»...

Жена давно стала принадлежностью в жизни. Всё было под её влиянием, и он тоже, и дети... у него была только Фраза. Но... при такой жизни он чувствовал, что она порой уже даёт ему знать, что хочет покинуть его. Тогда бы он остался один и без всего, без главного, составлявшего смысл существования. А поделиться было не с кем, кроме как с ней же, с Фразой, и чтобы получился разговор, надо было материализовать её – ну, хоть перенести на бумагу, и взять лист в руки. Он так и сделал в один из вечеров. Он сидел поздно под перешёптывания укладывающихся за занавеской детей и ворчание жены «А фарбрёнен зол алц верн» и «А фаркишефтер нефеш».¹ Потом он не знал, куда спрятать написанное, положил на гардероб и придавил старыми часами, долго ворочался в постели рядом с женой, пытаясь побыстрее уснуть... и утром поплелся на станцию разбитый, ещё больше раздвоенный и растерянный. Ему не с кем было посоветоваться, некому показать то, что он пишет, и он знал, что это никому не нужно... вернее, никому до этого нет дела и никогда не будет.

Литература вдруг представилась ему огромной скалой, о которую разбиваются волны таких вот писаний. Он почему-то вспомнил про Буревестника, ему вовсе стало тошно, потом «рождённый ползать...» Он не знал, для чего рождён, и вдруг подумал, что с тех пор, как купил этот костюм, прошло полгода, колени на брюках вытянулись, лацканы пропали, после того, как он обсыпал их в буфете сахарной пудрой с булочек, что раньше за доклады ему выписывали гонорар, а сам он просить не может, если они забыли, и очередная передовая в журнале обошлась ему в полторы недели, а статья в газете за подписью главного, которого он уже не видел два месяца, стоила ещё недели... А за это время можно было добавить страниц тридцать под часами... и он обрадовался этому: названию, неожиданно пришедшему на ум... на перо... это оно само вывело над перечёркнутым прежним «Под часами». Так он обнаружил, что растёт не то повесть, не то роман и ужаснулся. Решил порвать рукопись, но понял, что это невозможно, потому что она вся была в голове, и если не перенести её на бумагу, не освободиться от неё, то ничего написать больше не сумеет... а вернее всего, просто сойдёт с ума...

– Ты знала, что он пишет, мама?

– Нет. Я знала его, а что пишет... нет. Он приносил иногда журнал и показывал то передовицу без подписи, то изложение доклада своего патрона на конференции, то его, т. е. свою статью с его подписью, в газете...

– И что?

¹ «Чтоб всё сгорело» и «блаженный».

– У него было лёгкое перо. И он был совсем непрактичным человеком. Конечно, его бессовестно использовали. Но не было выбора. Сегодня так легко быть умным задним числом...

– Но рукопись сохранилась?

– Думаю, что нет.

– Это только научные работы устаревают, но идеи, в них заложенные, вечны – они столбы эпохи.

– Нет, нет. Рукописи пропадают. Люди уходят бесследно. Нет, нет...

– Поэтому ты приходила в ужас, когда поняла, куда меня повлекла Фраза.

– Это была дорога в никуда. Я ошиблась? Мне хотелось бы посмотреть, что вышло, но в «потом» не заглянешь...

– Он был хорошим человеком?

– В бытовом смысле – да... но это тоже надо уметь понять. Хотя все его любили за безвредность...

– Равнодушие?

– Может быть. Он жил внутри себя...

Режиссёр

Время не обращало на нас никакого внимания и заставляло посторониться. До премьеры оставалось три дня, до отъезда – четыре. Штанкет был полуопущен, и на нём висела грязная пыльная падуга. Дежурный свет из-за неё освещал только первые два ряда зала, а дальше в глухом полумраке светились овальные номера кресел. В одном из них – ровно посередине ряда, сидел мужчина, опершись лбом на руки, положенные на спинки впереди стоящих кресел.

Идти домой не хотелось. Нет – было невозможно погрузиться опять в вопросы о сыне, о ботинках, о том, что сказала соседка по площадке... или, не дай Бог, начнут расспрашивать, как дела и сколько человек можно пригласить на премьеру... или, совершенно невозможно – спрашивать, как вышел костюм и не психанула ли Валентина по его поводу... это уже было чересчур, и он заволновался так, словно всё уже произошло: и спросили, и пошили, и...

Человек решительно встал. Натянул куртку, валявшуюся под креслом, сунул руку в карман – последняя трёшка не выпала. Он ловко направился вдоль ряда, потом на сцену по ступенькам слева, раздвинул задник, свернул налево и вышел в открытые по случаю приёма декораций, вернувшихся с гастролей, ворота. Никто в театре, таким образом, не знал, где он. Свернув за угол, он проголосовал и уже в салоне машины тихо сказал: «Мне до поворота Канавы. Трёшки хватит?» – Водитель утвердительно кивнул, даже не взглянув на него.

За открывшейся дверью пахло старым тёплым уютным домом. Широленные половицы, изразцовая печка, глубокое окно с геранью и цветущей «невестой» на подоконнике за плотным тюлем. Он любил это пространство, заставленное до последнего сантиметра вазами, мягкими медведями, обезьянами на свисающих лианах, буратинами и зайчатами, сидящими в нелепых позах, пианино с метрономом на крышке, любил колокольцы в проёме двери, старую кровать с блестящими шарами в изголовье и таким привычным и удобным матрацем. Они долго сидели за круглым столом под старинным и ни разу не перетянутым абажуром. Онпил, не переставая, и никак не чувствовал приближения хмеля. Потом, когда совсем стемнело, улеглись под толстенное одеяло, и все пять чувств его слились в одно.

Утром он проснулся как всегда рано. Почувствовал, что лицо залеплено её рыжими, пахнущими лавандой волосами, и, перепутанные с её ногами, ноги затекли. Он хотел повернуться на спину, но понял, что сзади кто-то лежит, с трудом приподнял голову и искоса уставился в ещё одно спящее лицо. Тогда он стал до деталей припоминать весь вчерашний день, вечер, начало ночи... попытался встать, но не так-то просто было выпутаться... Татьяна зашевелилась, открыла глаза и уставилась, словно видела его в первый раз: «Ты куда? Рано ещё! Никогда утром кайф не словишь...» Он продолжал молча смотреть на неё, и ей пришлось продолжить: «Ты меня вчера замучил. Пришлось Людку звать на подмогу... ну, ты же её знаешь, моя соседка по дому... что ты молчишь, а вчера был доволен... даже очень, ворковал: „Девочки, девочки“, у тебя что, неприятности на работе?» Он на секунду опустил веки, и она восприняла это, как подтверждение своих слов. «То-то ты вчера был, как сумасшедший. Такой ненасытный!» И она смачно поцеловала его в щёку. Он приподнялся на локтях, рассмотрел спящее лицо соседки – действительно, он её знал, Татьяна уже приглашала её в компанию. Спина вылезла из-под одеяла и мёрзла. Тогда он упал лицом в мягкую подушку, почувствовал, как Татьяна заботливо укрыла его, и снова уснул. Последнее, что промелькнуло в голове: «Чего я на ней не женился? С ней всегда так легко и хорошо... а женился бы и всё – ни легко, ни хорошо...»

Завтракали они опять вдвоём. Людка убежала на работу.

– Ты зачем её позвала? Скажи честно.

– Ты меня одну заездил. – Он смотрел, как она сладко потягивается напротив и заматывает на затылке свою рыжую копну.

– Ничего не помню. Когда ж она пришла?

- Часа в два. Правда не помнишь?
- Не-ет...
- Что ты выделявал... у тебя что, действительно не ладно в театре?
- Почему ты так думаешь?
- Родненький, это только почувствовать можно.
- И у тебя получается?
- Главное, что у тебя получается, – засмеялась она. – Ты, когда работа не удовлетворяет, ко мне приходишь... самоутверждаться...
- Что-то часто прихожу. Пора искать другую работу, да я делать ничего не умею больше...
- А когда неприятности, – продолжила она, деликатно отпивая из чашки, – неистовствуешь. Так что извини... пришлось...
- Хм... и часто ты её призываешь? – Она посмотрела на него долго и пристально.
- Уходи.
- Нельзя же сразу впадать в амбицию, этого добра мне везде хватает.
- Каждый получает по заслугам. А хамить будешь у себя в театре.
- Ну, прости, ради Бога, ты меня не так поняла. Ты сегодня дома?
- Дома.
- В четыре приду каяться... – она молчала и не поднимала глаза. – Ладно?
- Ты никогда не знал, где находится рампа. Я ведь не лезу в твою личную жизнь...
- Таня, у меня целая репетиция впереди... не надо... – и так ничего не клеится, – тихо добавил он, опершись двумя руками о стол и свесив голову.
- А то, что мне целый день предстоит работать, ты не подумал? Они этого не прощают... – и она обвела рукой комнату. Он поднял голову, будто впервые посмотрел на кукол, сидящих, лежащих, висящих со всех сторон. Фантастические наклоны головы, крошечные растопыренные ладошки. Старинные камзолы, шпаги в крошечных ноженках, торчащие гапиты, тяги, раскрытые пасти и вытарашенные глаза... им тоже скоро на сцену.
- Прости меня, Таня, прости. – Он поддерживал ладонью её голову сквозь мягкий пучок на затылке и сладко-сладко долго целовал, заряжаясь энергией и спокойствием. Потом медленно оторвался и вышел, не оглядываясь. Только на улице он вспомнил, что в кармане ни копейки, но возвращаться не захотел и решил, что когда доедет, стрельнёт в бухгалтерии десятку, чтобы ещё и на день хватило туда и обратно. «Хоть бы о работе что-нибудь ворохнулось внутри, – со злостью подумал он, – ни черта. Может, правда я не на месте. Татьяна права. Женщина... моя женщина... чего я на ней не женился? Тогда бы она не была моей женщиной. Женой – да. Женщиной? Нет. Я бы всё равно искал себе другую Татьяну. Поганая натура. Говорят, отец такой же был... и что?» Подъехала машина, и он по дороге разговорился с водителем, выясняя за сколько можно снять на трое суток фуру до Тамбова, соображая, как лучше гнать декорации на гастроли – в кофрах багажом по железке или машиной.

И ты, конечно, мама, боялась этого. Боялась, боялась. Говорила: «Этот мир!» И такая интонация у тебя проскальзывала, и ты так поджимала губы. Ну, вот я живу в этом мире. Не сбоку, не со стороны. Пожил немного в одном мире, потом в другом, теперь вот перебрался с великими трудами в этот и наверняка уже – навсегда. Такая же суета, только нет равнодушных и больше обиженных, от этого высокое нервное напряжение, а все эти развраты, кто с кем спит... ой, мама, почему анекдоты сочиняют про тех, кто у власти, про самых известных, а не про самых талантливых, порядочных и достойных? Да потому что именно они известны, а то не будет смешно... что рассказывать про обычного инженера, с кем он развёлся и на ком женился? Или про гениального засекреченного академика?! Вот про киноак-

тёра, он же с экрана по-другому смотрится, и каждый может к нему в постель залезть... ты их жалеешь? Они, правда, бедные, никогда вдвоём остаться не могут, а может, им это нравится... почему ты молчишь?

– Так ты же слова не даёшь вставить... от этого ничего не остаётся. Ничего нет. Ни детей, ни дома...

– Ой, мама, после того, как столько людей убили... за один век убили столько, сколько жило на всей земле в прошлом веке...

– Но и в душе ничего не остаётся.

– Теперь обещают компьютеры. Даже рукопись выглядит странно – кусок пластмассы.

– Когда я была маленькая, книга была не только «лучший подарок», как писали в твоём детстве, – она представляла богатство. Библиотеки переходили из поколения в поколение... а теперь даже идеи умирают раньше, чем поколение состарится.

– Каждый имеет право жить, как ему хочется, лишь бы не мешать другому – разве не это смысл всего, что происходит за все века?

– Нет. Разврат мешает жить другому...

– Ты называешь это развратом... ты поэтому отказалась от карьеры артистки... ведь у тебя был талант... все говорили... а то что бы тебя остановило... для многих это норма жизни... кто прав? Кто судья?

– Ну, есть же другие, вечные, общие нормы.

– Кто их установил? Религия? А ты знаешь историю папства? Священники, которые продали и душу и тело власти?... Не большевики же, которые ввали и жили двойной моралью... нравственные убийцы...

– Люди родили идею. Люди исковеркали её. Люди должны восстановить...

– Нельзя восстановить Вавилонскую башню... мама...

Гири

Когда он понял, как ловко и легко его купили, сам не поверил своему открытию, достал свои статьи годичной давности, стал анализировать, перечитывать, класть рядом с последними публикациями столбец к столбцу и ужаснулся тому, что произошло.

Пиджак засалился. Педагогика отступила назад, а впереди задрапированная в его Фразу шла демагогия... слава Богу, не под его фамилией, но всё равно близким и знакомым стыдно в глаза смотреть... и это за два свежих лацкана, не вытянутые брюки на коленках, бесплатную бабочку на ночь и графин с коньяком на тумбочке в номере... для совершенно не пьющего человека – многовато... он понял, что оказался ни тут, ни там... для «тех» он был чужим, не в состоянии ожлобиться в силу характера, воспитания и здоровья, для «этих» стал отщепенцем, оторвавшимся от неписанных скрижалей порядочности и разумности существования... и для всех – подозрительным типом, явным ловкачом, может быть, стукачом, может быть, живущим под чьей-то ещё не распознанной «крышей».

Он вспомнил сорок восьмой, прошлый испуг снова сильнее сжал сердце. «Если бы я чего-то стоил, пошёл бы вслед за Квитко и Бергельсоном. Просто я им не нужен, и себе я тоже такой не нужен. То, о чём мечталось, никогда не сбудется». Потом он стал высчитывать, что же его оградило: страх патрона за то, что пригрел прокажённого, или его заступничество, поскольку всё же он был ему нужен, может быть, счастливое стечение обстоятельств, и понял, что просто до него не дошли ещё руки. Он понял, что оказался в капкане, – уйти значило сразу же подписать себе приговор, сидеть на месте – только оттянуть развязку... «Но не могут же они взять всех! – возражал он себе и отвечал, – Могут. Как сделали это со всеми крымскими татарами... в одну ночь»...

Вернувшись домой, он, несмотря на поздний час, стал энергично действовать под приглушённые проклятия «А, фарбретенен зол алц верн»...² своей ничего не понимавшей супруги, сетовавшей особенно, что он не переоделся и, как настоящий «лёмушка», непременно испортит последний костюм...

Он снял со шкафа пачку исписанных листков и завернул их тщательно в газету, потом перевязал какой-то лохматой верёвкой и сунул в старую, выжженную годами сумку от противогаса, которая воняла селёдкой. Всё, что хранилось в ящике под столом, он комкал и засовывал в печку. Дверца ржаво скрипела, сыпалась сухая зола на пол и со змеиным шипением растекалась по подложенному, как у всякой топки, жестяному листу. Когда ящик опустел, он вытянул заслонку и поджёг всё с одной спички. Пламя загудело, и тягой шевелило дверцу топки, а там, где она не плотно прилегала к раме, видно было, как мечется рыжая горячая стихия. На душе его стало много спокойнее. Он взял ключ от сарая, но потом передумал и повесил его обратно на гвоздик у двери. Жена давно замолчала. Она поняла, что сейчас совсем не время, поскольку дело, видно, приняло нешуточный оборот, и у неё так же защемило сердце, как днём у мужа, но она не знала, отчего и не умела так анализировать.

На улице было прохладно, он поёжился и поплотнее прижал сумку локтем – идти предстояло совсем недалеко. Он сначала стукнул тихонько в окошко, потом в сенях во вторую внутреннюю дверь и вошёл, не дожидаясь ответа.

В комнате было тепло, тоже топилась печка, и на конфорке стоял чайник. Он шагнул в комнату и остановился.

– Садитесь, – пригласил его человек, сидевший у стола, и встал ему навстречу. Пётр Михайлович поколебался, снимать ли пальто, но решительно шагнул к столу и сел. – Давно я вас не видел, Пинхус Мордкович.

² «А, чтоб всё сгорело...»

– Давно. Давно, Смирнов.

– Что-нибудь случилось. Просто так вы бы не пришли в такую пору. – Мужчина встал и, приволакивая ногу, поплёлся к плите, поставил чайник на стол, две разномастных чашки, сахар и в плетёной корзинке сухари, обсыпанные маком. Всё это он делал молча. Его гость сидел, положив одну руку на стол и опустив голову. – Маша так и не вернулась, Пинхус Мордкович...

– Я знаю, – откликнулся гость, не меняя позы. – Ты не жди напрасно...

– Я не жду, – перебил хозяин, – я и не жду. На фронте ждал очень, думал, как вернуться, что... – он вздохнул. – А помните:

По рыбам, по звёздам проносит шаланду,
Три грека в Одессу везут контрабанду...

Я вас часто вижу, как вы утром на станцию спешите... что, уже ушли из детского дома?

– Слушай, Слава, – не отвечая, начал Пётр Михайлович и поднял глаза, – тут вот какое дело... я... вот, здесь рукопись... – он вытянул сумку из-под пальто, – можно, конечно, и в печку, но...

– Почему? – Слава протянул руку. – Вас понял...

– Ты можешь, если почувствуешь риск, это сделать и без меня... я подумал, что это, как экзамен на зрелость... это всё о нас... о вас, о нашем еврейском детском доме, ты ведь не забыл... может, пригодится. Ты одарённый мальчик был... очень... я надеялся, что писать начнёшь...

– Я три года в разведке шлифовал свой талант... теперь чужие книги переплетаю, а мечтал... мечтал, не скрою, вы меня заразили... иногда жалел даже, что разбередили тогда... а скажите... за это не волнуйтесь – ни одна мышь не найдёт, даже если кто и стукнет... скажите, я всё думал, думал, когда бывало сидел и часами ждал в снегу или в кустах у чужого окопа... почему вы меня тогда спасли? Зачем так рисковали?.. Русского мальчишку-уголовника в еврейский детский дом... тогда ведь тоже не сладко было... Я всё никак понять не мог, зачем вам это?

– Значит, плохо я воспитал тебя... – откликнулся Пётр Михайлович, – если ты мне такие вопросы задаёшь. Я пойду... если что случится... со мной, не заходи к нам... ради памяти всех ребят сбереги это. – Он встал и, не протянув руки, направился к двери.

– А Машка Меламид не виновата. Вы же всего не знаете, Пинхус Мордкович. Я сам, дурак, всё натворил... так что вы про неё не думайте, – донеслось сзади. Он обернулся и тихо ответил:

– После. После. Обязательно расскажешь... обязательно... это очень важно, только после.

Дома он прежде всего открыл свой портфель, достал из него непечатую пачку бумаги, разорвал опоясывавший её бумажный пояс и половину листов бросил на стол, вторую половину он положил на то место, где прежде лежала рукопись, накрыл старой жёванной газетой и придавил часами, потом вскарабкался на табурет, убедился, что всё получилось натурально, и только после этого снял пальто и переоделся. Он видел, с каким недоумением жена смотрит на него, но сделал вид, что не замечает, посидел несколько минут в оцепенении с закрытыми глазами, потом снова вскарабкался на табурет и, сам не зная зачем, рядом с часами поместил на газете две продолговатые холодные гири, соединённые цепочкой. Снова усевшись, он оценил свою работу: сверху над шкафом торчал крошечный уголок газеты... И он представил себе, как они приходят с обыском и, конечно, обнаруживают этот манок и бросаются доставать рукопись с ехидными улыбками – нет, – непроницаемыми лицами, и как злость искажает их, когда они обнаруживают, что достали. Он так ясно всё это увидел, что невольно вслух усмехнулся.

– Ха!

– Вос тутцах? Что происходит? Ты можешь сказать мне, что происходит, или твоя жена уже такая дура, что ничего не сможет понять?

– Перестань, Белла. Ты же интеллигентная женщина, ты же читаешь газеты, ты же еврейка, наконец, перестань – что происходит, то происходит. Со всеми происходит и с нами тоже.

– Ты будешь работать или сначала поешь?

– Я сначала поем, а потом буду работать... я буду работать, пока меня не остановят...

– Эйх мир а гройсер менч! Большой человек! Никто тебя не остановит! Кому ты нужен без работы! Ты будешь пахать на них до самой смерти! У тебя уже столько фамилий, что тебя просто потеряли!

– Я же говорил, что ты умница! Они меня потеряли! Ты права! Права! Пока не построю царские палаты... это уже было... что дети?

– Дети? Какие дети? У тебя что, есть дети?

– Знаешь, иногда мне кажется... – он замолчал и склонился над тарелкой.

– Ну, договаривай, говори – я ничего не вижу, меня подменили, ничего вокруг не интересуется... мой отец вовремя умер, но не каждому бывает такое счастье... его и в местечке уважали за ум... а у нас не одни дураки жили...

– Знаю, у вас в местечке родился Троцкий... дос из а глик! Это большое счастье! Но прошло ровно пол двадцатого века, и мир ничего не предложил новенького кроме способов убийства, и первые удары всегда падают на наши головы... так если умереть, то хорошо, как Пьер и Люс... ты помнишь «Пьер и Люс»? Помнишь? Конечно, помнишь – мы вместе вслух читали, а у тебя всегда память была лучше... лучше, лучше... так оглянись назад: стало плохо, и нас опять нашли... одними татарами и саратовскими немцами не обойдётся... ты же знаешь, ты же вся в отца...

– И ты знала, что он пишет что-то своё?

– Скорее догадывалась... такое лёгкое перо... но он при своей мешковатости и наивной мягкотелости был с твёрдым стержнем внутри... нет, я не знала, конечно.

– А ты не писала что-то «своё»?

– Всё, что я писала и делала, было «своё» и часто не устраивало генеральную линию... но в науке нельзя выхватить одного – это дело коллективное, я бы сказала, корпоративное... тут не спрячешь ничего... а честно сказать, не было у кого спрятать...

– У тебя не было друзей?

– Таких, у кого можно спрятать, не было, все они нуждались сами в такой же дружеской поддержке. На этом и строилось осведомительство в этой среде. Некоторые наивно полагали, что могут откупиться чужой судьбой и жизнью, обесценивая этим свою собственную...

– А ты уже не верила в общую идею?

– Если скажу «да» – совру, если «нет» – неправду... единственное, что я могла сделать, – порвать и вынести некоторые книги...

– Я помню...

– И знаю, что ты их потихоньку спасал...

– Этого я не знал!

– Знала!

– И не остановила меня?

– Ты бы потом не простил мне этого...

Мама, мама, кто же посмел встать между нами! Как мне вернуться туда, чтобы тогда жить с тобой одним, общим... как страшно ты спасала меня... вы жили, как обложенные

волки... биологи, генетики... по-вашему выходило, что коммунистические идеи не передаются по наследству и надо власти тратить колоссальные силы на внедрение их в человека, а потому уровень разума населения должен был быть достаточным лишь для восприятия дрессировки... сколько подписей стояло под твоими статьями – оценивающих, разрешающих, допускающих, берущих на себя ответственность... а кому это надо – брать на себя ответственность... сколько идей состарилось в ящиках лабораторных столов и сгорело в буквальном смысле перед предполагаемыми обысками и арестами. Мы имеем право только сожалеть – ну не все же могли быть протопопами Аввакумами, хирургами Добровольскими и стойками Вавиловыми.

Может быть, ты и не знала, что он писал, а может, так убедила себя в этом, чтоб и под пыткой не проговориться... а ты не забыла, что с тем чемоданчиком, что стоял в прихожей у стеллажа с книгами с твоей парой белья, зубной щёткой, железной коробочкой зубного порошка и полотняным мешочком сухарей, потом... я ездил в институт и носил в нём «Термодинамику» и ноты... он так и простоял без дела все аресты и погромы... ты, наверное, тоже думала, что до тебя просто не дошли руки...

Авоська

Смирнову очень хотелось немедленно вытащить рукопись, разложить страницы на столе и узнать из них сокровенное о себе и товарищах, и о Пинхусе. Они все его любили, хотя поначалу он производил неприятное впечатление своей неуклюжестью, кривой верхней губой, раздвоенным кончиком тупого носа, который то и дело вытирал или просто по привычке подбивал снизу вверх ладонью... Его бескорыстие и бесхитрость подкупали через минуту общения, и сколько потом ни проходило времени рядом с ним, он таким и оставался: преданным и жившим больше где-то внутри себя.

Слава вспомнил, как Пинхус забирал его из распределителя... непонятно, почему... «Он же русский! – возражал заведующий. – И у меня нет разнарядки...» Пинхус не соглашался: «Русский! Разнарядки! Ты посмотри, какие у него глаза! Он же пропадёт тут!» Но чиновника переубедить не удавалось: «Как же так? У вас же еврейская колония!» Пинхус тоже сражался: «Еврейская, еврейская! Ну, дак что? Все люди евреи – не все об этом догадываются!»

Как ему удалось переубедить, а главное – зачем, мучило Славу уже много лет. Среди Школьников, Канторовичей, Явно, Миримских, Меламедов были и Ручкины, Заривняки, Нечитайло, поэтому Смирнов легко вписался в этот ряд, а через полгода болтал на идиш не хуже тех, кто с детства не знал другого языка и здесь учил русский...

Он положил сумку на стол, вышел и вернулся с плоским резиновым ведром, трофеем, захваченным в гараже немецкого штаба ещё в Белоруссии, бережно вложил рукопись в это ведро, щёлкнул клапанами, загнул верх и перетянул верёвкой. Вода теперь не могла просочиться внутрь. Потом всё это завернул снова в газету и втиснул в старую, грязную, когда-то бывшую белой авоську. Теперь вряд ли чьё-нибудь внимание она могла привлечь.

Для него содержимое было не просто памятью прошедших лет – там, как он понял, хранилась его прошлая, теперь то ли умершая, то ли разбросанная семья. Он был «фронтная разведка» и первым видел то, о чём и в сводках не сообщали, и в книгах не писали. Несколько раз они наткнулись на концентрационные лагеря, и лучше всего о них информировали надписи на стенах в бараках и на остатках строений. Его товарищи не знали, что он понимал эти закорючки, оставленные на память миру в последний миг перед вечным закатом.

Где могли они быть, его товарищи и друзья... он вдруг прервал свои воспоминания и остановился на полшаге: «А что же он сам не засунул туда свою тетрадку?!» Но, постояв несколько мгновений, решил, что не надо всё добро складывать в одно место – армейские команды, ещё прошлых веков, очень разумны, даже мудры: рассредоточиться. Он же не в наступление идёт, обороняется – не надо так рисковать...»

Рано утром, когда туман медленно отступал в низинки и прятался за низкорослыми ёлками на опушке, через поле медленно шёл человек, сильно прихрамывая и потому не сворачивая, чтобы обойти лужи. Его кирзовые сапоги были заляпаны грязью до самого верха, армейская телогрейка застёгнута на все пуговицы и на лоб надвинута бывалая тоже армейская ушанка. В руке идущего болталась грязная авоська, в которой лежало что-то завернутое в газету, торчала головка бутылки, и выпирали углы тоже завернутой в газету буханки – явно харчишки, которые раздобыл, наверное, на станции. Человек шёл неторопливо, не глядя под ноги и не поворачивая головы. Бог его знает, куда и зачем.

Картина эта была настолько обычна, что не могла вызвать ни у кого подозрения... он добрёл до опушки, свернул по дороге вдоль леса, а когда достиг переложных туманом, как ватой в ящике новогодних игрушек, ёлочек, вдруг резко взял влево между ними. Слегка качнулось несколько веток, роняя капли, и человек исчез. Он и тут шёл уверенно и не оглядываясь, чуть отведя назад руку с авоськой, чтобы не задевать ею ветки по сторонам. Через полчаса он остановился, снял шапку, вытер ладонью пот со лба и тихонько по особому свистнул – никто

не отозвался, тогда он свистнул чуть громче и замер, прислушиваясь. Его натренированное ухо уловило слабый треск веток, он усмехнулся и пошёл навстречу звуку, через несколько шагов снова остановился, и в этот момент к ногам его бросилась огромная лохматая собака и, слабо поскуливая и изогнув кольцом своё тело, затопталась смешно вокруг, сильно колотя хвостом по голенищам его сапог, отчего раздались редкие глухие хлопки. «Домой, домой, Лирка!» – скомандовал Смирнов, и собака побежала вперёд, непрерывно оглядываясь на ведомого. Через несколько минут чаша внезапно упёрлась в мокрый бревенчатый бок избы, пахнуло теплом из отворенной двери, и прищелец шагнул внутрь в полумрак. «А где хозяин?» – обратился он в глубину и, не получив ответа, снова вышел на крыльцо, повторил свой вопрос, и собака, перекинув голову с боку на бок, рванулась в чашу. Смирнов огляделся, пошёл к покосившемуся строению, скинул щеколду с двери и, когда вышел обратно, в руках его ничего не было. Он снова отправился в избу, разложил в печке огонь, поставил чайник, достал из самодельного шкафчика стаканы, тарелку, два ножа, положил всё это на стол, вышел на крыльцо и закурил в ожидании.

Мама, ты помнишь, рассказывала мне сказку, как в одной стране решили избавиться от стариков, потому что страна была бедная, а уже обессиленные годами люди ничего не производили, и кормить стариков-нахлебников стало накладно. Так и сделали. Но один человек не предал своего отца и спрятал его от королевских солдат. Прошло время, и стало ещё хуже, но никто не мог понять почему? Ты помнишь, помнишь? И вот настал день сеять, а в стране не было ни одного зерна – всё подчистую съели... опечаленный и беспомощный вернулся домой этот человек, и отец спросил его, что такое страшное случилось? «Мы все погибнем, отец, – нечем засеять поле!» «Э, сынок, – сказал ему отец, – не так всё это страшно. Возьми палку и других научи: идите в лес, на опушку и разворошите муравейник – там много припасено зёрен муравьями, и надо будет только продержаться до нового урожая, а летом это вполне возможно...»

Так и сделали простые жители, и спасли своё королевство, в котором с тех пор самые уважаемые люди – старики!

– Ты не помнишь, где оно находится, это королевство? – спросила мама.

– Мама, мама, я бы тебя обязательно спрятал тоже!

– Знаешь, можно всё вытерпеть... когда египтяне убивали младенцев по приказу фараона, один всё же спасся... вот и старик... тоже...

– Ты верила, что тебя кто-то спасёт от несправедливости?

– Нет, страшнее было другое... они думали, что, сдав кого-то, этим откупятся... сами ставили себя вне защиты... глупые, обманутые люди...

– Они пришли из того королевства?

– Да. Я хотела, чтобы ты ничего не принимал на веру.

– И боялась мне это сказать?!

– Сформулированное никогда не выполняется... только у естествоиспытателей...

Третий звонок

Репетиция зашла в тупик.

– Я вас прошу сделать вот так. – Режиссёр спокойно поднимался со своего кресла, шёл на сцену и сам поворачивался, сдвигал стул и садился. – А слово разделите пополам – вы же задумались. Раскусите его, как бутерброд – съешьте в два приёма.

– Всё. Всё понял, – убеждал актёр, потирая руки. Пока режиссёр шёл на место, он проходил по дуге, как ему только что показали, переставлял стул и произносил «на – прасно».

Режиссёр уселся в своём ряду, дал отмашку, и... после второго раза, когда ничего не изменилось, он хлопком остановил движение, после третьего заорал «на-прасно!» так, что осветитель сверху крикнул: «Седьмой убрать?» Но ему никто не ответил – все не занятые уже тихо утекли из зала через приоткрытые за портьерами двери... от греха подальше.

– Последний раз показываю! – вскочил из кресла режиссёр.

– Не надо! Я всё сделаю! – донеслось со сцены, и режиссёр застыл на одной ноге, потом опять опустился в своё кресло и замер. – Можно?

– Давно! – ответил режиссёр. Но стул на сцене грохнулся, зацепленный ногой обалдевшего актёра. – Ах ты, чёрт возьми! Я сейчас, сейчас, Пал Василич, извините... я ещё раз...

– Перерыв! – спокойно донеслось из зала. Остальное было сказано недоступно тихо для постороннего уха.

– Пал Василич! – прошептал из темноты женский голос, – зарплату получите...

В зале остался дежурный свет, по сцене ходили, задрав головы и переговариваясь, осветители, в узком петлявшем коридоре пахло буфетом...

– Пал Силичь, – донеслось из крошечной комнаты с пыльным окном, заставленным буйными цветами в горшках. «А эта как меня вычислила? По шагам что ли?» – он заглянул в дверь и внимательно смотрел на сидевшую за столом Наденьку-машинистку. – С трудом вашу руку разбираю, – произнесли её пухлые губки, – вы бы мне подиктовали, – и она ткнула пальчиком в листок на столе. Он помедлил и вошёл. – Вот, поначиркано... – он наклонился, чтобы разобрать, что там начиркано, почувствовал знакомый запах духов, исходивший от её шеи, и, сам не понимая, как и зачем, коснулся губами. – Тсс... – чуть слышно сказала Наденька, – дверь... – и она ловко выскользнула из вертящегося кресла.

– Может, отложим до вечера? – робко поинтересовался он.

– До вечера? Хм... одно другому не мешает, – надув губки ответила Наденька и толкнула его в кресло, – если бы я тебя ждала, так бы и ходила не... – она замолчала, подбирая слово и ловко усаживаясь к нему на колени... – вечером ты мне диктовать будешь, а теперь я тебе... «Пропал», – было последнее, что успел подумать режиссёр...

«Всё пропало, всё пропало, – думал он, сидя в своём кабинете. – Зачем? Сам не знаю... это во время гона так животные чувствуют друг друга. А мы то что – не животные? Только у них это раз в году, а у меня круглый год... опять менять театр... а... всё одно и то же... куда я от себя денусь...»

Первый раз он женился совсем молодым и через месяц понял, что это «не то». Он ещё сам не мог сформулировать, что «не то», но стал косить на сторону, поссорился с начальством, ушёл из театра, его направили в другой, периферийный, далеко на Север, чему он был очень рад. В это время жена ждала ребёнка. Он оставил её на попечение матери и уехал один, а потом как-то так само собой вышло, что и не вернулся – из того города снова переехал, потом опять поменял театр, и, когда возвратился обратно через четыре года, оба они поняли, что семьи не получилось. Женщин у него было много, но он уже не спешил с женитьбой и вообще решил, что на роду ему написано быть блуждающим форвардом, когда неожиданно влюбился. Всё было словно впервые, и единственное, о чём он мечтал – никогда с ней не расставаться – ни

днём, ни ночью. Так оно и случилось. Он жил в её квартире, там хватало места и для её маленькой дочери, но через два месяца вернулся муж из загранки, и вместо того, чтобы выполнить своё обещание: всё ему рассказать и расстаться с ним, его новая пассия стала тянуть, мяться и откладывать решение, а он горел и не хотел ждать. Наконец, он понял, в какую ситуацию попал, а такое распределение ролей его не устраивало. Он попытался оторвать от себя свою любовницу, но не тут-то было. Она хотела всё сохранить, как есть, дожидаться нового плавания мужа и снова зажить, как ей казалось, счастливо. Начались размолвки, ссоры, кто любит по-настоящему, тот и страдает. Он начал пить, снова поссорился в театре и случайно в этот период встретил буквально на улице женщину с двумя огромными авоськами, которые она еле волокла, опуская их время от времени на мокрый слякотный тротуар. Он помог ей донести ношу до подъезда, потом до лифта, потом внёс в кухню, остался попить чаю и остался совсем.

Она была инженером-экономистом. Жила тоже с дочкой, но не ждала возвращения мужа – просто выгнала его три года назад и так и коротала время совсем-совсем одна. От её голодной жадности он сошёл с ума в первый же вечер и снова решил, что вот и нашёл свою судьбу, или судьба нашла его, но через два месяца ему стало трудно и скучно – угар прошёл, он по ночам не спал – ему не давался спектакль, а она этого понять не хотела и требовала, чтобы ночь целиком была только её – слишком долго она была одна и даже не понимала, чего себя лишала, поскольку пока жила с мужем никогда ничего подобного не происходило...

Спектакль он выпустил, и, говорят, удачно. На премьеру её не пригласил. Она обиделась. Он не понял, за что. Она никак не могла ему втолковать причины своей обиды, и они решили оба подумать, кто прав, – поодиночке.

Он дал себе слово: всегда ночевать только дома в своей постели... и через год женился – случайно, выйдя из больницы весенним мартовским днём в никуда – без театра, без денег... в свою коммуналку в центре с хорошим видом из окна. Жена была моложе его лет на семь, сразу же забеременела, успокоила его, терпеливо ждала, когда он найдёт работу и появятся деньги, а пока где-то их доставала... и жизнь потекла размеренно и скучно, как «у бургера» – говорил он...

Потом у него появилась и работа, и кое-какие деньги, и женщины... она обо всём этом знала понаслышке от людей, бывавших в доме, друзей, просто неизвестно откуда... из воздуха... но она не бунтовала, в глубине души даже словно гордилась тем, что её муж пользуется таким успехом у дам. Она умела не обострять обстановку, а он изо всех сил старался сделать так, чтобы отрицательная информация в дом не попадала... да и сам он частенько промахивался мимо своего собственного дома, который, по правде говоря, любил...

– Мама, и что же потом ты от него отдалилась?

– Мы никогда не делились сокровенным, но часто то, что происходит на твоих глазах, красноречивее слов и признаний... а потом привычка анализировать – это же единственный метод познания... даже если кто-то получил результат, учёный проверит его, чтобы удостовериться...

– Ты осуждала его?

– Что ты! Скорее жалела. Ситуация была безвыходная, а время жестокое – ни поблажки, ни отсрочки...

– Ни прощения?

– За что? Все империи рухнули из-за гонений на мысль...

– И тебе было страшно... когда?

– Когда? Страшно было всегда, но после ареста Вавилова и убийства Михоэlsa – казалось – всё. Конец...

– Ты же тоже нарушила традицию...

– И чуть за это не поплатилась. То есть должна была. Но у них не хватило времени. Слишком гигантские цели они поставили себе, не соизмеряясь с возможностями... это тоже неумение любого диктатора... я же не лектор... ты на мне проверяешь своё ощущение, а если я ошибаюсь – я тебе могу отдать всё, что у меня есть... то есть уже отдала... мне ничего не нужно, но сам не впади в ошибку и не спрашивай у матери сокровенное – я не смогу тебе сказать то, о чём не говорю себе самой...

– А кому же?

– Никому! Это уходит с нами, и недосказанность порождает тягу к познанию. Вечный процесс...

– Но для художника это невозможно, тогда теряется смысл творчества...

– А может, это пережиток вульгарного реализма?

– Но ты не любишь Павла Васильевича.

– Он неприятный мне человек... а я плачу по старым счетам... мне не до этого...

– Вот как.

Спектакль не получался. Сцены рассыпались, герои мрачно шатались по сцене, будто все болели гриппом. Потом вдруг сам Павел Васильевич, действительно, свалился с высокой температурой и окунулся в непривычную домашнюю рутину с уроками, готовкой, проблемой доставания лекарств, новых сапог и главное – денег. Денег катастрофически не было. Не то что не хватало – просто не было. Сыну нужен был свежий творог каждый день. В магазине его, как и всё остальное, можно было добыть только выстояв очередь, после того, как удачно застал продукт на прилавке, но промёрзшие насквозь синюшные пачки какой-то белой массы совсем не обладали теми целительными свойствами, на которые возлагались надежды в борьбе за здоровье сына. На рынке же творог был слишком дорог. Слишком не в сравнении со здоровьем, а по случаю перманентного отсутствия денег.

Позвонила директриса узнать, когда продолжатся репетиции, потому что и в театре не было денег, а стационар пустовал по случаю подготовки нового спектакля. Павел Васильевич огорчился, понял, что против него в театре идёт мощная работа «активистов». Он хотел наплевать на болезнь, встал, побрился привезенным ему из-за границы «Жиллеттом», что было невероятным шиком, надел свежую хрустящую рубаху, бархатный пиджак – всё, как перед важным сражением. Он посидел на стуле, преодолевая потливую слабость, аккуратно снял и повесил в шкаф вещи и снова лёг: гори оно всё. Так давно ему хотелось поболеть, полежать, почитать что-то хорошее... что – не формулировалось, но как в детстве. Окунуться с головой в книгу и уже там, внутри фантазировать, придумывать, обгоняя автора, споря с персонажами, не уступая им своего, казалось бы, незаконного в повествовании места. И каждый раз, когда он брал в руки книгу, она оказывалась или материалом для следующей работы, или какой-то дребеденью, которую надо было прочесть хоть по диагонали, чтобы не оказаться белой вороной в случайном разговоре при встрече с компетентными людьми или автором...

Он стоял перед полками, задрав голову, – сколько непрочитанного, накупленного по знакомству в закрытых для широкой публики магазинах большого города. Боже мой, боже мой, и всё пишут и пишут, достают и достают, и его потом «достают» – всё тащут на сцену. – Ради престижа? Заработка? Или наступил ренессанс театра? – Он рассмеялся вслух. Закашлялся. Стащил с полки двумя руками огромную шикарную книгу «Русские сезоны» и поплёлся к дивану...

«Все делали спектакли в спешке, и всем не хватало трёх дней. И у Дягилева были те же проблемы, и пока театр будет жить, будут жить эти проблемы: костюмы не готовы, декорации

не дописаны, денег не хватило, свет не такой, как хотелось. Герой бездарен и заменить некем... а если бездарен я сам?..» Он вспомнил рассказ своего приятеля, который, только готовясь стать художником, пришёл со своими работами к одному маститому спросить у него: получится ли из него художник. Тот посмотрел и не стал оценивать работы. Он сказал ему: знаешь, наступит день в твоей жизни, когда тебе захочется уничтожить всё, что ты сотворил, и умереть. Только умереть... от неудовлетворённости и стыда за всё содеянное на холстах, оргалитах, картонах, бумагах, досках и т. д. Но ты преодолеешь себя и с новой силой возьмёшься за работу. Ты начнёшь мучаться и продвигаться вперёд, когда вдруг почувствуешь, что снова наступил такой же судный день, и лишь одно остаётся – умереть. И так будет не однажды. Если ты готов пережить такие дни не однажды, а между ними не купаться в радости и достатке, а тяжело работать, – из тебя точно получится художник.

Он отложил книгу и набрал номер телефона. Татьяны не оказалось дома. Длинные гудки впивались иглами в какое-то мягкое незащищённое место и жалили очень больно. Он держал трубку, опустить её на рычаг не было сил, и сам себя убеждал, что ей вовсе не обязательно сидеть вечно дома и ждать его звонка. Потом он стал размышлять, куда она могла деваться, и где её можно застать, подошёл к окну, уставился на заснеженную улицу, почему-то представил, как всего лет семьдесят назад она такой и была всю зиму, а по ней без рёва и вони скользили сани, запряжённые парой. Ему стало легко, грустно. Он снова вернулся к аппарату и услышал знакомое «Да-а...»

– Приезжай сейчас, – сказал он без нотки сомнения.

– Не могу.

– Не хочешь?

– Неудобно.

– По делу. Я один, но это неважно...

– Тогда давай в театре.

– Я болею.

– Болеешь? Первый раз такое слышу.

– Правда. Грипп.

– Ну, вот, хочешь заразить меня...

– Я тебя не в койку зову, а в дом... приезжай, мне герой нужен.

– Ты что, на кукол перешёл?

– Мы все куклы, только не понятно, у кого в руках ваги...

– Это как раз понятно, дорогой...

– Вот и расскажешь, просветишь... спектакль сыпется, спасать надо...

– Что привезти?

– Ты помнишь, у тебя был Шут...

– Из «Летней ночи»?

– Похоже...

– А лимон?

– У меня грипп, а не ангина... лучше бутылку коньяка, за этим по крайней мере гоняться не надо...

– Зачем тебе шут? – спрашивала Таня с порога через полчаса.

– Нужен. Главный герой с ним на собрание придёт.

– Зачем?

– А там в зале больше поговорить не с кем!.. понимаешь? Не с кем! А шутам всё позволительно!

– Ну, ты придумал? Придумщик!.. Неправда, и шутам отрубали бошки... А твой будет с лицом...

– Нет, не начальника... с ним же поговорить можно!

- Не любишь ты людей!..
- Каких? Люди! Это же не мешок, набитый внавал!
- У тебя от гриппа в голове что-то сдвинулось... на собрание... какое собрание может быть на сцене!
- Хорошо... на бал, на маскарад...
- Какой бал в твоих производственных буднях...
- Ну, я же должен что-то сделать, чтобы она ожила... эта чёртова пьеса.
- Зачем брал? Возьми другую пьесу!
- Ты сама свихнулась... дали!.. за неё уже назначена премия. А у меня слетит звание...
- А ты хочешь и рыбку съесть, и на три буквы сесть...
- Не хочу. Больше ничего не хочу...
- Переходи в куклы... зайчики, лисички... шуты, принцессы, королевы... всё короче, прозрачней и сложнее... у нас как раз междуцарствие...
- Перестань!
- Я серьёзно.
- А если серьёзно, сделай мне такого же шута, только перчаточного...
- Зачем, зачем?
- Не знаю ещё, но чувствую, что он мне пригодится...
- Это «пригодится» выстрелит потом в тебя... а я буду виновата...
- Глупо... при чём здесь ты...
- А там ничего нельзя подправить в песке...
- Можно. Написать «Занавес» перед действующими лицами, сразу после названия...

- Скажи мне, пожалуйста, но как же это всё выплыло наружу?
- Никто точно не знает – тридцать лет прошло.
- И ты не держала в руках этих записей?
- Нет! Я только знала о них... когда он уехал, это ходило, как легенда... может быть, с собой забрал. Может быть, не знаю... спрятал куда-нибудь, или отдал кому-нибудь, возможно их и на свете нет уже. Сгорели, истлели в ржавой банке в огороде... сын увёз в Сибирь после института. Он там женился на казачке, говорят, – это была трагедия...
- Что делать? Что делать?
- Искать. Я так мечтала, что ты станешь учёным... это значит искать... и ничего больше не нужно, потому что каждый день ищешь. Находишь редко, но сам поиск!
- Я же тоже ищу...
- В другом месте – возможно, это было бы неплохо... но шанс пострадать от результата не вдохновляет... не правда ли?
- Ты такая молодая! Что ты сделала со своими талантами... Бог отсыпал тебе большой пригоршней...
- Талант – явление не индивидуальное... не преувеличивай... значит, этому времени в этом месте всё это не нужно было...
- Не согласен...
- Невысказанность убивает...
- Мама, так, значит, Шут! Он, значит, прав!
- Какой Шут, о чём ты?
- Да Пал Василич вот придумал... всё же в нём есть что-то... стихийное, оно прорывается через его меркантильность и суету...
- Не понимаю, о чём ты говоришь.

– Вот, слушай! Голуби находят дорогу домой, куда бы их ни занесли на другой конец света. Причём именно занесли, они не сами залетели. Тогда бы можно было предположить, что они запомнили дорогу или пометили каким-то образом. А они прилетают в то место, откуда их взяли, и никто не может определить, как? И талант находит дорогу... это же тоже необъяснимо...

– Какая у тебя каша в голове – не хватает образования, не умеешь аналитически мыслить... для этого надо стать учёным...

– Мамочка, мамочка, я знаю про что ты... только вспомни, какая великолепная академия сидела за колючей проволокой...

Снова

Возвращение было тяжёлым. Всё, что прежде хотя бы не раздражало, если не принималось, теперь казалось пошлым, вымученным и натянутым. Собственно, пропала интонация, то, что невозможно объяснить, сформулировать, дать попробовать, как запах.

Кассир Клара Васильевна выдала крохи по бюллетеню с таким мученически сочувствующим выражением, что он заскрипел зубами. Наденька надула губки, захлопнула дверь и сказала, что вполне могла бы навестить его, если он действительно так болен... но хотя бы позвонил... она скучала и страдала... но посмотрела на него, сама распахнула дверь и уселась за машинку.

Директор поинтересовалась его самочувствием, но, слава Богу, в кабинет не вызывала и не спрашивала, как идут дела.

А дела не шли. И дел никаких не было. Он чувствовал, что летит в пропасть, с двух сторон отвесные стены – упереться в них ногами, и вполне можно подождать, пока сверху спустят спасительную верёвку. Но полёт стремителен – стоит выставить ногу, и её вывернет от соприкосновения с бешено проносимой мимо стеной. Это был конец. Чувство беспомощности и тошнотного страха сменилось необыкновенным облегчением. Он закончил репетицию. Выстоял очередь на углу, запасся необходимым количеством спиртного, отложил десятку в пистончик, поймал машину и поехал необычным маршрутом – без звонка и без разрешения к старому доброму знакомому, который никакого отношения не имел ни к театру, ни к искусству, ни к женщинам. Он строил свой мир из железа, и в нём всегда находилось место для друзей. На окраине города в рубленой избе с огромным самодельным столом, превращённым в верстак, огромным псом, лежащим поперёк неметённого пола, и огромной печью, которая всегда топилась, как геенна огненная.

Здесь невольно возникал взгляд со стороны на всё происходящее, что давало возможность спокойно разобраться и принять решение. Можно было делиться мыслями вслух, можно было молча смотреть глаза в глаза и понимать друг друга, а можно было молча же пить и никуда не смотреть, как только в себя, и тоже прекрасно понимать собутыльника. Что они и делали почти до утра...

Пьеса, конечно, была дерьмовая – он это знал. Если не напрягаться, разложить реплики по головам, произнести их и не добавлять чуждых в данном случае подтекстов, придумок, реприз, многих уловок театра, – если не делать этого, лишь чтобы выпустить спектакль на уровне пьесы, всё бы сошло... но он решил, что надо спасать... кого и зачем, он уже давно забыл, а стремление осталось. И все эти уловки и придумки разрушили дремучую плоскую основу, она потекла, размягчилась и стала тонуть и падать на бок. Чтобы её спасти, не на что было опереться. Наружу вылезали уже грехи режиссёра, и только его одного, – не справился с материалом... такая типичная, удобная, непроверяемая формулировка «вышестоящих инстанций», как они себя называли...

Он пил и не пьянел, потому что сосредоточенно думал, а когда всё было выпито, и он на секунду оторвался от своих мыслей, мгновенно опьянел, сполз со стула и заснул полусидя. Приятель заволок его на тахту, стащил с ног туфли и укрыл старым лоскутным одеялом. Утро только брезжило, и вполне можно было прихватить несколько часов, чтобы теперь ещё и во сне прокрутить ситуацию – что делать, а потом уже, при свете дня, принять решение...

Он проснулся внезапно и почувствовал, что его неодолимо тянет домой. Голова, конечно, трещала. Нормально, значит, организм ещё на месте и не отказался от него. Домой? Почему домой? Ему всегда там было трудно в такой ситуации, и он бежал искать... искать? Вот, вот, где-то близко... он мечется, ищет этот придурок из пьесы... он не борется, а ищет и распахивает двери кабинетов, как ворот рубахи рвут на груди, когда душно с похмелья – распахивает!

Никакая это не пьеса, к чёрту. Это просто кусок из жизни вырезали. Как делали итальянцы в кино двадцать лет назад... тогда получится и пьеса нормальная, и люди – нормальные... эта героиня – лаборантка, как Надежда Петровна, что придёт принимать спектакль... она такая же вальяжная и симпатичная, да, да, да... и в койку готова прыгнуть... только боится, что лишат места за аморалку... она не себя боится... а что? Может, попробовать?... Хорошая баба, замужняя, наверное...

Он уже спешил домой. Смотрел через окно, как синюшные бабки в неизвестно откуда вытянутых драповых пальто сгибаются под их тяжестью и тащатся по инерции по улицам доставать пропитание – мечутся, троллейбусы со скошенными на сторону входной двери задами воют от напряжения и тоски и тащатся не в силах свернуть с опротивевшей дороги, а водители, наверное, мечтают об огромных фурах, дальнем свете фар, выхватывающем девочку на обочине... мечутся, мечутся... всё, всё получится... только бы не упустить этого ощущения!.. Нет. Теперь не упустишь. Оно само никуда не уйдёт, и надо только не сопротивляться, а чувствовать стрежень течения, чтобы на изгибе не прибило к берегу – по течению, по течению, как все... реализм, так реализм... и одеть их надо в поношенные костюмы, а не прямо с манекена на плечи... потоптать на полу ногами, чтобы выглядели поприличнее, а не как на показе в доме моделей. Хорошая пьеса! Никакая. Значит, хорошая. На меня надеются, на режиссёра – оправдаю, не подведу. Нет, теперь не подведу. И к чёрту баб. Нет, вот это ни за что – правда жизни пропадёт... Он улыбнулся. Потом секунду решал, на что потратить последнюю трёшку, и всё же велел водителю завернуть на рынок, схватил приличный букетик, с головой завернутый в мокрую газету, и рванул домой.

Неожиданное появление Павла Васильевича дома, казалось, не произвело взрывного впечатления, может быть, потому что сын торопился в школу, и жена лихорадочно собиралась на службу. Они только внимательно посмотрели друг на друга. Она, не отрывая взгляда, развернула газету, поднесла головки цветов к носу и глубоко вдохнула нежный, чуть уловимый аромат, а он сжал ей руку чуть ниже локтя и сказал: «Всё!» И оба они поняли, что это значило...

Это поняли, неизвестно каким образом, и все в театре и сразу же при его появлении вели себя соответственно. Он выскакивал на сцену и легко показывал, как, как они распаиваются – двери кабинетов, пиджаки, души... и почему это происходит... и у актёров возникло ощущение, что у них получается убедительно то, что они делают в ответ на реплики и показы режиссёра. Какая-то тягучая правда переползала на сцену, и от кажущейся скуки повторения того, что они принесли с улицы сюда для показа тем, кто это сам проживает каждый день и знает досконально, от этого и возникало нечто и притягивало к себе узнаваемостью. Возможностью увидеть свою жизнь со стороны, – это мы. Это про нас. Теперь ему не надо было ничего выдумывать. Он ломал нелепые диалоги и резал по мёртвому тексту, чтобы он ожил. И плевать на автора – автор за окном, за дверью, за экраном телевизора, за страницей газеты... Художник? Где художник? Где свет? Приглушить всё и убрать контурный, к чёртовой матери, – размыть... фигуры... плотные фигуры... в сгущённом молоке со шлейфами каждого движения – всё размыто, и всё на виду... опустевшее пространство сразу заполняется, и нет проблем с утраченным – всё плотно, нет дыр, хорошо... и двери, двери, много дверей... без надписей, без табличек... может быть, их не вешают, потому что часто меняют, а может быть, потому что не меняют годами, и все и так знают, где и кто... двери... и непременно разные...

Собственно говоря, мама, и рассказать нечего. Всё так благополучно прошло. Инструктор приняла благосклонно, и хлыщ из управления культуры. Потом пили водку на банкете, и, действительно, Надежда Петровна его припирала грудью к стене в коридоре и жарко дышала в лицо, да он сделал вид, что не понял, но необходимо... так... под Ваню-дурачка. Да, уж теперь

и звание, конечно, продвинут... а больше давать... нет, не то что некому – всегда найдётся, кому дать, но он их обдурил... срежиссировал. Стать своим не так просто. И после этого он сначала хотел запить, чтобы смыть душевное неудобство. Внутреннее, невидимое, но от которого его корёжило. Не получилось. Он даже обрадовался этому – значит, ещё не совсем пропал... ну, я тебе не буду всё пересказывать... знаешь, не обо всём я тебе могу рассказать – так, если сама поняла или догадалась, то слава Богу, а рассказать, назвать словами не всегда получается... наверное, я стесняюсь тебя... ну, пусть сегодня будет монолог, мама, я не могу... ты ведь не обидишься, правда?

– Но ты так и не предполагаешь, куда могла деваться его проза? Стоит ли хоть искать... даже не потому, что она не существует физически, а потому что ещё существует страх...

– Нет, я не промолчу... он будет всегда. Он не может исчезнуть. Ведь страх – это биологически оправданное и данное природой всему живому! Доказано, что даже растениям, стебелёчкам. Это датчик защиты, самосохранения, это шанс выжить в борьбе за жизнь. Вот наши «извращенцы науки», как их тогда называли, понемножку возвращаются в жизнь, даже мёртвые возвращаются, потому что они нужны самой жизни, чтобы она не окончилась бесславно... дело не в том, что много атомных бомб... дело в том, что их перестали бояться. Не физически бояться, но вроде как «их всё равно не взорвут, мол, нет таких безумцев, чтобы взорвать весь мир». Весь мир не взорвут – не страшно. Вот если рядом взорвётся – страшно. Страх возвращается, слава Богу... это вернее всяких соглашений. То есть их и подписывают под давлением страха... ты не прав.

– Он подступил ко мне, режиссёр, теперь, потому что хочет поставить то, что реабилитирует его. Ему не всё равно, как отнесутся не к спектаклю, а к нему... и он хочет от меня получить пьесу!..

– Это приходит много позже. Наверное, с мудростью возраста... Моцарт был гуляка... Эйнштейн размышлял по-мопассановски, на ком ему жениться: на дочери или на её матери, а может, сразу на обеих... очевидно, постные люди – праведники, а праведник закован в рамки морали и не может вырваться, чтобы создать новое...

– Мама, это говоришь ты? Ты!

– Видишь. Даже меня ты не знаешь. А себя?

– Нет. Но, когда я разговариваю с тобой, многое так проясняется... так ты считаешь, что не надо искать?

– Тебе не надо связываться с твоим Пал Силичем... та женщина тебе правильно говорила: вы не равны талантом... и положением, у вас всё в обратной пропорции. Это может кончиться только ссорой.

– Но мне никто так не предлагает... да ещё столичную сцену...

– Он ведь только предлагает... зачем тебе этот ненадёжный мир... эх, как редко случается то, о чём мечтают родители для своих детей... да и случается ли?

– Может быть, позвонить в журнал? Потом можно будет выстроить цепочку...

– Вряд ли там кто-то остался из тех, кто тебе подскажет. Столько лет прошло... такие разоблачения...

– Неужели ты думаешь, что сменили команду, а не табличку?

– Ты стал таким взрослым... может быть, талант старит... умудряет...

– Нет. Чем больше вникаешь в свою область, тем наивнее становишься в жизни...

– А если эта область – жизнь?..

– Её описали великие графоманы.

– Великие графоманы земли, преклоняюсь перед вами и благодарю за то, что вы были и оставили нам ваши шедевры, ставшие непреходящей ценностью веков. Рискну назвать, хоть одно имя, чтобы понятно было, какие титаны достойны этого великого звания – пишуций

человек, писатель... Данте... Петрарка... Шекспир... Гёте... Гюго... Бальзак... Лев Толстой...
Гроссман... Мандельштам... Хемингуэй...

Возвращение к началу

Смирнов не заглядывал в авоську много лет. Он жил среди переплётов книг, среди их переплетений... он не мог не писать, а это требовало сосредоточенности и уединения. Время не располагало к людской откровенности, но это никак не относилось к его страсти – именно раскраивать свою душу не перед людьми или Богом, но перед собой, перед неисписанным листом бумаги, а значит, перед всем миром. Он не думал об этом – он писал.

Наконец, настал час, когда он понял, что молчание его – это верёвка, и чем оно продолжительнее, тем прочнее она и тем плотнее обматывает петлями шею. Уже и не было никакой необходимости тянуть за её конец, чтобы сдавить эту шею и сделать молчание его вечным. Но он не хотел этого, и, как профессиональный разведчик, анализировал не потом, в свободное время, на досуге, а прямо тут – в поле, на морозе, под дождём в воде – по мере поступления данных, потому что вполне могло случиться так, что времени подумать и проанализировать не будет никогда, а он разведчик, и его дело отдать людям всё, что он узнал. Он тайно печатал свои стихи сам... на разных машинках с непохожими шрифтами и изъясными букв и начал рассылать их в редакции с разных почтовых ящиков. Конверты тоже не подписывал от руки, и шрифты на конверте и на листах, вложенных в него, были разными. Обратного адреса он не указывал, а потому ещё, чтобы не засвечиваться на почте, опускал свои послания в разных местах и безо всякой системы. Это были не фантазии сумасшедшего, но предосторожности профессионала, осведомлённого о силе противника, каковым в данном случае для него была власть. Конечно, ему интересно было бы знать реакцию редакций, но... ответить ему было явно некуда... ему даже важнее было не мнение профессиональных критиков и лингвистов, но гражданская реакция... на публикацию он явно не рассчитывал. Дома тоже ничего не держал – всё в голове... стихи, поэмы, варианты... мысли вслух...

Его тренированная память была известна многим. О ней даже анекдоты рассказывали, что он, когда в засаде сидит, не то что всё как «фотка» запоминает, а даже «сколько раз фриц задним проходом стрельнул», а по этому заключает, как врага кормят...

Смех смехом, а когда его из армии вчистую списали осенью сорок пятого, видно, где-то поместили про его способности, и стали вызывать... куда вызывают... тут он струхнул, потому что не знал, как отказаться... «Нам, Родине, нужны такие люди, Смирнов, – говорил полковник. – Вы думаете, война закончена? – Она только начинается! Внутренний враг ещё страшнее. С ним надо бороться. Нам такие, как вы, очень нужны. Подумайте и приходите...» Это повторялось много раз. Повестки были строгими. Полковники разными. Один сказал откровенно: «С таким паспортом и прошлым не продержишься. С нами будешь под крышей – без нас под колпаком. Подумай. А бумагу мы тебе другую сделаем, и пойдёшь далеко – жить будешь...»

Он тогда долго думал, и образование его шло семимильными шагами... сначала в госпиталь лёг – несколько месяцев – тоже жизнь... потом уехал в санаторий... опять в госпиталь... и повестки стали реже... дорого бы он дал за то, чтобы посмотреть своё дело... что там написано врачами, что полковниками...

Прошлое ворочалось в нём и никак не могло улечься, застыть, затаиться в дальних уголках памяти. Оно всё время колело его изнутри острыми углами, и он проживал его тысячи раз, отчего оно никак не уменьшалось, не съёживалось от времени. Он зрительно представлял его линией, которую он прочерчивает ежедневно, удлиняя и удлиняя каждый раз на крошечный прожитой отрезок. От частого повторения эта линия становится всё толще и толще, и потому получалось, что внутри у него одна дорога: по прошлым, прожитым и снова, и снова проживаемым ежедневно событиям, месяцам и годам. Он не мог уйти от него, от своего прошлого. Не мог поставить точку, рубеж и начать от него новую жизнь. Наоборот – он втягивал эту свою новую жизнь в прошлое и ценил её и творил по старым, возможно, уже негодным шаблонам...

Поскольку он довольно часто бывал у себя в лесу, авоську пришлось перенести в другое место и спрятать у тещи друга.

Толстые журналы просматривал в библиотеке, все, какие мог достать – от «Нового мира» до «Сибирских огней», от «Литературного обозрения» до «Родных просторов» – нигде ни строки. А он писал, писал и писал – его не волновал кпд работы, его утешало и огорчало сравнение с опубликованным на прочитанных страницах... одновременно и сильно.

Ни одна душа на свете не знала о его настоящей жизни – ни артельщики на работе, ни собутыльники, ни малочисленные знакомые.

Друзей у него не было. Он исключил такое понятие из своей жизни ещё на фронте, когда его друг, вернее «друг», ради собственного спасения бросил его в критической, безвыходной ситуации и... погиб вслед за этим в своём расположении, а не в бою. Он же тогда поплатился коленным суставом, но остался жив, и никто не знал, что произошло, кроме Бога, который, по его разумению, всё брал на заметку и не выводил среднюю, а взаимно уничтожал плюсы и минусы. Выйти на его литературные труды не было никакой возможности...

После того, как они глупо расстались с Машей Меламид, даже не так – по его глупости расстались... что же теперь... теперь её нет, потому что судьба второй раз не простила ей, что она еврейка... сначала развела с ним... опять не так – он не решился пойти против её родителей, которые категорически не пускали её за «гоя»... он хотел им доказать и просил у неё всего год... а потом... потом через год было уже гетто...

После того, как у него не стало Маши, женщины не могли достучаться к нему. Он сам брал их, когда ему это было нужно, и допускал до себя на столько, на сколько ему хотелось... но ни одной из них ему не хотелось прочесть стихи, как он читал Маше. Им, ни одной никогда и в голову не приходило, что он пишет стихи... какая чушь! Вряд ли хоть одна из них прочла стихотворную строчку после «Буря мглою...» в седьмом классе... они были земные, деловые, влюбчивые, расчётливые, доступные, недотроги, красивые, толстые, с огромными руками и ногами, с тонкими пальцами и щиколотками, хорошо одетые и пахнущие чесноком и мылом «Красная Москва»... они были женщины, но не друзья, даже не подруги...

В доме его была одна подправленная увеличенная карточка с заретушированными утратами. Иногда он ставил её на стол, повернув к свету, и спрашивал: «Ну что, мама, прорвёмся? Ещё немного продержаться надо. Я смогу – ты не волнуйся. Это вредно. Даже там, мама...

Ты поверишь, мама... они сами топорщатся и стучат строчками, как каблучками по доскам на мостике у озера, когда Машка прибегала... знаешь, это так забавно – какая-то щекотка между лопаток, и удержаться невозможно! Вот когда хочешь чихнуть и закрываешь рот, чтобы сдержаться – можно лопнуть, в ушах ломить начинает, как возле двадцатимиллиметрового миномёта, если уши не закрыть ладонями. Ты представляешь? Так забавно...»

У входа на асфальте валялись три огромные собаки, будто их внезапно настигла смерть... в боковой аллее вообще никого не было видно. Он открыл калитку, развязав кусок бельевой верёвки, служившей запором, положил перчатки на влажную скамеечку и сел на них.

– Мама, ты представляешь, он предлагает писать пьесу, заявку в министерство, аванс и всё такое...

– Ну, ты же мечтал об этом...

– Ты думаешь, мечтал?

– Во всяком случае, мне всегда так казалось... хотя...

– Мама, договаривай, – это очень серьёзно...

– Та женщина, что говорила тебе, что ты напрасно с ним имеешь дело, была права, по моему...

- Ну, мама... это так субъективно...
- Творчество вообще субъективная вещь, но талант для окружающих объективен... это единственное неравенство, которое плодотворно на свете...
- Так ты мне не советуешь?
- Я этого не говорила никогда... видишь ли... без дипломатии не проживёшь, но ты не умеешь идти на компромиссы... как дед...
- Который вовремя умер?.. прости, мама, это так горько... но ему нужна пьеса, он не поставит ничего из того, что все знают... ему нужна новая пьеса...
- Ты хочешь по дружбе его выручить, а сам при этом думаешь о том, что такой удобный случай получить заказ... но публика об этом ничего не узнает...
- А если он хорошо поставит? Может быть, попадись ему в руки раньше настоящая пьеса, он бы не фальшивил и не шёл на компромиссы?
- Ты веришь в случай... в случайность... я – в судьбу... некоторые говорят – фатализм, некоторые – Бог... может быть, есть всё же такая книга, в которую занесли наши судьбы, или удачи и обиды...
- Мама, скажи, пожалуйста, я понимаю, что все прятались и врали молчанием, разговорами... но нет никаких следов...
- Думаю, что есть... но люди смертельно напуганы, и никогда не наступит время, которое развяжет им языки... только раскопки через века... ты знаешь, откуда залежи магния, скажем, на дне океана... это переработанные временем колонии бактерий... временем... ты не найдёшь следов... слишком мало времени прошло, понимаешь...
- Я чувствую, что мне надо сделать это...
- Дело художника доверять своему чувству... интуицию ещё не вывели с помощью формул...
- Ты всё шутишь... а как мне быть? Мне нужен материал. Легенда. Вечна только легенда...
- А «Ромео и Джульетта»?
- Конечно, конечно, легенда...
- Тогда ищи... хотя не понимаю, что ты себе напридумывал... наверное, там обыкновенное бытописание того страшного, что он видел своими глазами, что пережил своим сердцем, что было его частью, его жизнью. Бытописание и педагогические откровения, или открытия, если они возможны в той области... А тебе нужна легенда. И ты строишь её на ощущении неосязаемого и неоощааемого, прости за тавтологию, материала... это не научно... извини, я сегодня устала... можно же и самому выдумать легенду... может быть, ты прав... «Один день Ивана Денисовича» уже есть, и что бы кто ни написал – это всегда будет «Второй день», а нельзя быть вторым писателем, вторым актёром... эх, если бы ты пошёл в науку...
- А вторым учёным можно быть?
- Нет. Нельзя. Просто вторых учёных не бывает, потому что в науке существуют истины, которые можно оценить... это не количественно, как секунды у бегуна... это шаги... если они новые – ты учёный... если нет – лаборант... вот и всё...
- Но, мама... мама? Да. Полдень не может тянуться даже десять минут. Я понимаю... он – Полдень... спасибо, мама...

Разведка

Автор не предполагал где-то заимствовать материал, а Пал Василич, надорвав уверенность своей жизни, заслоненной биографией, мечтал реабилитироваться новой постановкой. Но он чувствовал, что никакой Шекспир, Толстой или даже более подходящий времени Горький ему не помогут. Он знал, что ему нужно, но: а) не мог выразить этого словами и б) не мог сам себе ничего написать. Он вообще не мог написать даже письма, даже записать инсценировку, делаемую на ходу по мере продвижения репетиций, не мог для благого дела – получить за неё деньги. Машинистка Наденька списывала со сцены все реплики и со слуха его ремарки, за что ей перепадала большая часть суммы в виде наличности, а потом подарков и трат на развлечения. Он деньги в руках держать не умел – тем более в кармане – их наличие мешало ему жить, лишало покоя, их отсутствие мало заботило его, но тоже лишало покоя и отвлекало...

Компанейская натура режиссёра очень трудно перестраивалась на обычный житейский лад. Он забывал порой, что не все стоящие, идущие, сидящие перед ним люди, – персонажи пьесы, что они подчиняются какой-то морали, включающей в себя законы, условности, пред-рассудки, заблуждения целого государства. Ему хотелось строить мизансцены и тут же видеть результат своего желания, передвигать фигурки, учить их походке, интонации, выражению, словам... но, чтобы всё это осуществить, ему нужен был прежде всего сюжет и слова, нанизанные на него. Несколько раз он попытался сделать это сам, взяв за основу творения великих графоманов, но понял свою неспособность и зарёкся страшными клятвами от этого уничтожающего своей неотвратимостью в страсти занятию. Поэтому он прилепился к Автору и в мычаниях долгих бесед за бутылкой и в процессе других милых сердцу общих «мероприятий» пытался выразить своё внутреннее ощущение материала.

Скверно было у него на душе от «тёплых слов» высоких гостей, от вежливых улыбок знакомых, приглашённых неизвестно кем и неприглашённых... внутреннее неудобство означало, что... он ещё не безнадежен. К несчастью для себя он побывал на премьере у соседей и невольно сравнивал спектакли... нет, не спектакли... их нельзя было даже сравнивать, хотя соседский по мастеровитости и постановки, и игры уступал его собственному, но в том, чужом, ощущалось спокойное ненатужное дыхание. Вот, как умеем так и играем – «не стреляйте в пианиста, он старается изо всех сил». Может быть, ему только казалось, что просматривал он у себя сам – некую предвзятость, а оттого натужность и неуверенность интонации. Мы сыграем, сыграем вам, но не обессудьте, что сыграем *это*... он хотел продышаться – за всё.

Из того, что приготовил завлит, он прочёл две пьесы, понял, что остальные будут такими же, собственно говоря, – по вкусу своего, навязанного ему помощника, взял всю пачку пьес домой, якобы для чтения, и положил под стул возле телевизора... он подозревал, что завлит стучит. И давно, поскольку лет на двенадцать старше его...

Он опять сидел в комнате, завешанной марионетками, Шут теребил его волосы рукой, заглядывал в лицо, в глаза, беззвучно раскрывал рот, готовясь что-то сказать, вздыхал и отворачивался.

Автору Эля позвонила неожиданно: «Ты мне нужен. Хотела бы с тобой посоветоваться». Он поехал. Вопросов не задавал – в редакции все всё слышат. «Посмотри, – сказала она, когда вышла соседка по комнате, – и достала десятка два листков из стола. – Фамилия тебе ничего не скажет». Он принялся читать, положив перегнутые вчетверо листы на колени. «Какой-нибудь графоман, да и никогда профессионалы не присылают стихи в почтовом конверте...»

На войне нам хватало работы —
Что кому, – но хватало на всех.
Мы телами закрыли не доты,

А к власти дорогу наверх...

«Ничего себе!» И дальше.

Мы все – убийцы в орденах,
А что другое мы умеем?

- Ты где это взяла?
- В конверте.
- Покажи?
- Там нет обратного адреса.
- И что ты с этим будешь делать?
- А что с этим можно делать?

Фамилия, конечно, была не своя. Какой там к чёрту С. Сукин. Адреса не было. На штемпеле п/о Заморёново. Заморёново, да сколько их по России... Заморёново. Ясно, что человек не хотел, чтобы к нему постучались ночью... значит... значит... что это значит? Жалко. Человек понимал, что он пишет... Через два дня стихи вернулись к редактору. Итак, она совершила недозволенное – выносить рукописи из редакции чужим не дозволялось – только редактору и рецензенту. Но Автор их не перепечатывал – сдержал слово.

Всё казалось зыбким и напридуманым. К тому же прошло почти тридцать лет с той страшной послевоенной поры. Ещё более страшной, чем довоенная. Почему-то в России который раз уже так: кончается война, возвращается армия, веет духом свободы, надежды вырастают из воздуха, и... этот воздух выпускают из-под купола неба над страной, и она начинает задыхаться...

Что-то напридумывалось на пустом месте... так может, и писать эти фантазии, это сегодняшнее ощущение того времени, надежды тех людей не у них подсмотренные и подслушанные, а как это сегодня моделируется... но опять же что-то не пускало в такой путь... он казался неверным, ведущим в никуда... хотелось подлинности: достать и возродить то, что уже существует. Но это тоже фантазия. Существует ли?

Может быть, это и есть сюжет пьесы? Вот это произрастание нового характера... фальшивка... опять пионеры ищут погибшего героя. А он оказался таким талантливым – вот его проза, вот его стихи... вот и готова пьеса: дети выросли, они начали свою жизнь с того, что спасли талант – самое драгоценное и невозпроизводимое на свете... тьфу! Понос. Подлость. Опять спекуляция и конъюнктура – заразная бактерия. От режиссёра подцеплена. Автору не нужны звания... работа... всё уместается на одном столе, и сейчас уже «меня не обманешь никакими похвалами». Руганью в гроб вогнать запросто любого, а вознести этой шелухой – никогда... того, кто знает себе цену. И очень хочется в это верить.

Может быть, действительно мысли овеществляются, материя, из которой они состоят, становится доступной пяти другим чувствам благодаря шестому?!

Прошло несколько недель.

Эля позвонила второй раз и снова просила приехать. На сей раз Автор побежал незамедлительно. Снова на коленях лежала рукопись того же С. Сукина.

Грудь в орденах сверкает и искрится,
Невидимый невиданный парад
Всегда ведёт, гордясь собой, убийца
Под погребальный перезвон наград.

За каждой бляшкою тела и души
И прерванный его стараньем род,
А он, как бы безвинный и послушный,
Счастливым победителем идёт.

Нам всем спасенья нету от расплаты
За дерзкую гордыню на виду,
За то, что так обмануты солдаты,
И легионы мёртвые идут.

И злом перенасыщена веками
Земля его не в силах сохранить,
И недра восстают, снега и камни,
Чтоб под собою нас похоронить.

И звёздные соседние уклады
С оглядкою уверенно начать,
Где не посмеют звонкие награды
Убийцу беззастенчиво венчать.

Мы все косили наравне —
Кровавое жнивье,
И, сидя всей страной в говне,
Болели за неё.

Идеи пёрли из ушей,
И бешеной слюной
Так долго нас кропил Кощей
«Великий и родной»!

В голове всё перевернулось. Сердце колотилось. «Неужели это то, что искал?!» Как же его терзала война! Такое не могло даже прийти в голову... на это имел право только тот, кто сам прошёл ад войны и вернулся на землю мира. Какого мира? Мира ли?

Автор снова бежал домой с рукописью и больше не спрашивал редактора, что с ней делать и что с ней будет. Он читал, впитывал и умирал и возродился вместе с этим Сукиным... это было похоже на безумие, и когда открылись строчки

Детдомовцы, евреи, колонисты —
Моя благословенная семья...

— это было настоящее светопреставление. Автор понял, что действительно сходит с ума... может быть, конечно, и верно: «кто ищет, тот всегда найдёт», но трудно представить себе такое совпадение событий без какой-то посторонней могучей Воли, как бы её ни называли.

Совпадение

- Эврика, мама, я нашёл! Не веришь?
- Ты столько раз уже обманывался, что это стало системой.
- Научный подход здесь ни при чём. Паша затащил меня к своей приятельнице художнице. Она делает кукол для театра. Такой кукольный дом посреди ядерной зимы. В нём неуязвимые живые... нет такого слова... они живые, и я понял, что попал на материал... пока я найду этого Сукина, и найду ли вообще... но соблазн преодолен, конечно, этот поиск – такая лафа слюнявая...
- Ты стал вульгарен, а это лишь сиюминутно привлекательно.
- Ты права – это вульгарно: пойти по такому вытоптанному следу и надеяться потом только на междустрочье, да скандал с очередным Иван Ивановичем, упёршимся в стихи Сукина. При неопровержимости их подлинности и неуловимости автора.
- Куда тебя заносит?
- Мама, представь себе, как нравственны неодушевлённые предметы! Чайник. Стол. Ящик. И они попадают в ситуацию, когда надо высказать свою позицию, – вот тут всё и начинается! Это живая драматургия, мама.
- Мне нравится.
- Я просто обалдел: Колокольчик-цветок соединяется с Пчелой, а потом делится впечатлениями от этой любви с рядом растущей Земляничкой. Ему тоже нужны плоды жизни! Ты представляешь?! Какие просторы, сколько силы в этой правде.
- Не ищи правду – это дорога в никуда. Это годится только...
- Для учёных... я понимаю. Правда – это тупик.
- Великое множество не предполагает точного решения, а размытость не рождает интереса.
- Мама, ты понимаешь, это будет пьеса... но не для него... может, я виноват перед ним. Но так складывается жизнь...
- Не совмещай творчество и быт – ты же сам говорил, какой это ужасный сон – неумение ощутить край сцены...
- Нет, нет, я не буду нарушать законы...
- Всё у тебя в голове перепуталось... законы – это резервуары страха, стоит их коснуться – и ты пропал! Ещё ни один закон не предписывал, что можно, только – нельзя, а остальное можно, и ты начинаешь оглядываться, бояться оступиться, потому что не всё время смотришь вперёд, а прошлое можно только нести в себе, его нельзя рассматривать, ибо видишь уже всё с совсем другой точки...
- Мама, мама... мне бы такого режиссёра, и я бы не просил у него ни договора, ни постановки... а зачем он мне тогда?
- Вот именно!..

Они пришли вместе первый раз. Павел Васильевич ушёл один, он торопился по делам. Автор остался на полчаса. Они ещё долго пили чай с Татьяной, и он чувствовал, что никак не может успокоиться. Что-то внутри подсказывало ему, что это не простой визит, что с него начнётся какое-то новое дело, может быть, постановка, может быть, вообще что-то для него неизведанное... и он покинул этот дом в состоянии ожидания, душевной неуравновешенности или даже тревоги. Несколько дней он был под впечатлением визита к ней, ему всё мерещились садящиеся на плечи куклы, опадающие потом бессильно сверху на тебя и растекающиеся

еся по телу, как пролитая сметана, медленно сползающая и никогда несмываемая, – её можно только слизнуть...

Павел Васильевич звонил ему постоянно, тербил по поводу пьесы, предлагал для инсценировки то Козакова, то «Евгению Ивановну» или ещё более неожиданные и не всегда вразумительно объяснимые темы. Однажды после очередной перепалки по поводу постановки он неожиданно сказал, глядя исподлобья:

– Запал ты на Татьяну... смотри, она такая баба, что пропадёшь!

– Почему запал? И отчего пропадёшь?

– Что запал – вижу, а насчёт пропадёшь – знаю... сам проверял...

– Я в чужом огороде капусту не стрижу... – он не стал говорить товарищу, что уже несколько раз навещал Татьяну и всё больше привязывался к ней.

– Ладно, ладно – это я так... а впрочем... вот и «сюжет для небольшого рассказа...», как сказал классик. Ты её порасспроси как-нибудь, она такие штуки иногда подсказывает – чёрт-те откуда берёт... художник она, конечно, первостатейный, а жизнь переворачивала её столько раз, что есть что вспомнить...

– Всех нас трясло... – вздохнул Автор, желая закончить этот разговор, почему-то необъяснимо не нравившийся ему, но последнее слово, конечно, осталось за режиссёром...

– А в койке ей равных нет, – и они оба долго молчали.

Через несколько дней Автор столкнулся с Татьяной, что называется, нос к носу в зрительном зале на пятом этаже на устном журнале. Естественно, они сели рядом и пока непрерывно оборачивались перед началом, отвечая на приветствия, он – своим друзьям и знакомым, она – своим, даже не посмотрели друг на друга. Выпуск оказался ужасно скучным – даже здесь так случалось – они переглянулись и молча стали протискиваться в тесном проходе между рядами к выходу, а потом так же молча спустились на пол-этажа пить крепкий кофе, сваренный Мариночкой, местной любимицей, в джезве по-настоящему, по-турецки. Здесь было страшно накурено – так, что дым ел глаза, голоса гудели и сливались в ровный фон, было тесно, жарко и обоим не по себе.

– Пошли! – он решительно встал и протянул руку. Татьяна повиновалась. Они спустились по перекрещивающимся встречно бегущим вниз удивительным даже для такого огромного города лестницам, причуде архитектора, и вышли на улицу. Он удачно с первого захода поймал частника, и они поехали далеко на окраину к её деревянному дому, не сговариваясь, молча и не глядя друг на друга. Когда он проводил её до дверей и стал прощаться, чтобы вернуться к оставленной машине, она ухватила его за рукав у запястья, легонько притянула к себе, тихо выдохнула: «Пойди расплатись!» – и исчезла в дверях, не оборачиваясь. Он помедлил секунду, протянул водителю деньги и следом за ней нырнул в темноту сеней. Последняя трезвая мысль его в этот вечер была: «Всё, как в плохом романе». А дальше до утра была жизнь. Если бы художники могли материализовать не свои переживания по поводу чувств, а сами чувства, не свои возражения по поводу мыслей, – сами мысли, они должны бы были нарисовать именно эту ночь, когда интеллект и инстинкты настолько часто менялись местами, что совершенно измученные их владельцы и носители к утру уснули, наконец, сном праведников, ибо очистились, вкусив сразу все изобретенные до них грехи в один присест, и обессилев.

– Тихо, тихо, тихо... – она приложила мизинчик к его губам, когда солнце разбудило их, и совесть начала мучить его. – Я ничья не собственность и никому ничего не обещала. Тссс! – Татьяна опять остановила его. – И дружба тут ни при чём... тссс...

– Да я... – начал было он.

– Не надо! – прервала она. – Ситуация банальная, сто тысяч миллионов раз прожитая до нас, и нечего по этому поводу терзаться. Я ничья не собственность... посмотри лучше на этого старого Лиса... ах, до чего же ему не хватает проделок Братца Кролика, ну посмотри, он просто чахнет без них...

– Ты удивительная женщина!

– Я? Да. Удивительно ещё и то, что я жива...

– Почему?

– Почему жива или почему удивительно?

– И то, и то...

– Первое, потому что я... впрочем, не стоит сегодня – это потом, а второе, потому что...

и это потом...

– Я хочу тебя познакомить со своей мамой, – сказал Автор.

– Зачем? – грубо удивилась Татьяна. – Вот уж совсем ни к чему – ты что, мне смотрины, что ли, как невесте, устраиваешь, или всегда с мамой советуешься, – она явно была раздражена и уже откровенно ехидничала.

– Всегда, – просто ответил он, и Таня почему-то против своей привычки замолчала.

Они позавтракали поздно, за ручку, как в детском саду, вышли на улицу и молча пошли к электричке. Может быть, это молчание было объёмнее и вразумительнее всех объяснений в эти минуты. Он не думал, что и как надо делать, – всё получалось само собой – чего давно не было. Очень давно. Она шла за ним с таким лёгким сердцем и так беззаботно, что чувствовала совершенно то же самое: такого давно не было. Не надо было самой решать что-то, преодолевать себя, чтобы сделать что-то, можно было просто идти за человеком, которому полностью доверяешь, и даже не думать, почему так получилось, что она, прошедшая огонь и воды, так легко доверилась первому встречному, поддавшись какому-то мимолётному чувству или инстинкту.

В одном она точно не ошиблась. Она даже не думала об этом, а просто чувствовала: такого любовника у неё никогда не было, столько нежности, жадной ненасытности и деликатности в одном человеке! Она не спросила, куда они едут, и не поинтересовалась, почему они идут в дом с пустыми руками. Она ничего не говорила, ничего не спрашивала, и в знак полного отупелого согласия время от времени тёрлась щекой о его плечо и плотнее прижимала к себе его локоть и в электричке, и потом в автобусе, который крутил и качал их по разбитым окраинным улицам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.